

До открытия Дальневосточного фестиваля поэзии оставалось время покурить. Курильщики, к которым в то время относился и я, не огорчало, что самый почетный и главный гость мероприятия задерживается. Он шел от перекрестка Шолом-Алейхема — Димитрова медленно, и вовсе не потому, что держал фасон и знал себе цену в нашем городе. Просто рядом шла мама, которая к тому времени быстро ходить уже не умела, а если бы даже и умела, то всё равно шла бы медленно, потому что под руку её вел ТОЛЯ, любимый сын, поэт, живущий в Иркутске, но часто бывающий в Москве. О чем вы говорите, Боже мой! А поэт медленно и терпеливо следовал рядом с мамой, а после извинялся за то, что ненадолго опоздал. Он был чертовски солиден, в модном пиджаке, который очень подходил по цвету к его седине. Вот так я увидел впервые Анатолия Ивановича Кобенкова. Потом он читал стихи — тихо и вдумчиво — и совсем уже не выглядел мэтром.

Тогда на дальневосточном фестивале поэзии мы и познакомились. Это было в сентябре 2004 года. До этого я видел его один раз в кабинете у Леонида Школьника, но, к стыду своему, мало что знал и о нем, и о его поэзии. Это несмотря на то, что сам служил в Ангарске, где Толя прожил много лет, и пел его песню:

*Пахнет свежей вербою,  
и земля оттаяла,  
Грач смотреть скворечники  
утром обходил...  
А Любовь Ивановна  
двойку мне поставила,  
А Степан Андреевич  
двойкой пригрозил...*

Это уже тогда была моя песня, песня твердого двоечника, рано влюбившегося в одноклассницу.

Проводя мастер-класс, Толя сказал, что Саша Драбкин как поэт пока еще не окончил даже одиннадцатый класс. С тех пор свои стихи я стал называть текстами и смотрел на них уже совсем по-другому, мне хотелось верить, что смотрю Толиными глазами. Увы, я никогда не научусь писать так, как он.

Именно тогда я дал почитать Толе стихотворение «Апрель», и он показал мне, что можно творить с текстом. «Я веслом уродую апрель, рыжего подкидыша весны» — это строки, написанные Толей и вставленные в мой текст. Они не понравятся потом моему редактору, поэту Михаилу Феофановичу Асламову, но я откажусь что-либо менять. Текст так и остался в сборнике «с веслом, уродующим

апрель». А еще Толя вполне серьезно осудил меня за то, что пишу на компьютере или пишущей машинке. Как мусульманин считает грехом резать, а не ломать хлеб, так он считал, что стихи должны писаться рукой, и что только рука, вооруженная ручкой, может быть посредником между сердцем и бумагой.

А что собственно нас сроднило — криминалиста, зачем-то начавшего писать стихи после сорока, и известного, признанного в писательских кругах поэта? Толя был на девять лет старше, а это целая эпоха даже по нынешним временам.

Мы выросли в одном городе, каждый по-своему любил Биробиджан. Толя писал именно языком моего города:

*В провинцию входила темнота.  
Она располагала к разговорам  
О холодах,  
которые наступят,  
о валенках, что надо покупать...*

В каждой строчке я слышал город и время, в котором вырос, и видел Толю, наливающего своему собеседнику, «начальнику похоронного оркестра», вино «из надтреснутой бутылки».

В дни фестиваля Анатолий Иванович не пил вовсе, не позволяло здоровье, однако тепло и без сожаления рассказывал, как во времена молодости бродил по Иркутску вместе с Александром Вампиловым в поисках рубля «на лечение».

Нет человека, с которым не о чем было бы поговорить. Я уверен, что все люди до единого на этой земле имеют между собой что-то общее. Другое дело, все ли хотят искать общие боли и интересы, для того чтобы говорить и понимать друг друга. У Толи Кобенкова было много общего с коренными биробиджанцами и, как мне кажется, со мною тоже. Каждый из нас в своё время не дружил с учёбой, и, насколько я помню, Толя оканчивал вечернюю школу в поселке Теплоозерске, потому что там легче было получить аттестат.

Я тоже окончил школу благодаря слезам моей мамочки, которую жалели как инвалида и общественницу.

Потом армия, у каждого своя, но с общими чертами в текстах. Толя писал:

*Я в лес хотел.  
Сержант Карнеко  
Не отпускал меня,  
и я шел медленно в библиотеку  
решать загадки бытия.*

Я тоже через много лет попытаюсь нарисовать это время:

*Проводы, тоска стройбата.  
Грунт ангарский под лопатой.  
Сны и письма.  
Холода.*

Энергия осени и слякоть весны, вокзальная грусть и очеловечивание дороги — всё это тоже было общим, и еще много разного. Большую часть жизни он прожил в Сибири, сначала в Ангарске, потом в Иркутске. Был дружен с Вампиловым, организовывал фестивали поэзии, писал эссе, входил в редакционные коллегии известных журналов.

Имя отчество Иванович, он не хотел скрывать и никогда не скрывал своего еврейского происхождения. А в Иркутске некоторые не скрывали своего отношения к его еврейству, и однажды Толины недруги поместили в местной газете сообщение о смерти поэта Кобенкова А. И. А почему нет? Шутка. В Биробиджане он бывал редко. Больше звонил.

*Снег уже почернел —  
на земле, на дорогах, на крышах.  
В эти ночи и дни  
по-ударному трудится связь,  
и поэтому мама меня  
Замечательно слышит:  
— Снег уже почернел.  
— Снег уже почернел и у нас...*

Когда он уезжал после фестиваля, попросил меня навещать его маму, Дору Давидовну. Она жила в девятиэтажном доме, недалеко от прокуратуры области, где я тогда работал. Мне приятно было общаться с Дорой Давидовной, замечательной, доброй и умной женщиной, говорить о Толе, о жизни в Биробиджане. Она очень хорошо знала еще ТОТ Биробиджан, город моего детства, который я любил и помнил.

Прошло чуть более года, когда мне позвонила соседка Доры Давидовны и попросила срочно прийти.

— Ей плохо, — сказала она, — я не знаю, что делать.

Я попросил вызвать скорую помощь, но врач лишь констатировал смерть.

Сам я прибежал поздно, спустя несколько минут.

Не я это придумал, но людей, умерших дома, положено осматривать сотрудникам милиции, у них немного опыта такой работы, поэтому я сам диктовал участковому содержание протокола осмотра. Об этом я так и не расскажу Толе. А зачем?

Самое страшное было сказать ему, что «хранитель музея Кобенкова», его мама, умерла.

*До чего же я жил бестолково!  
Захотелось мне жить помудрей.  
Вот и еду в музей Кобенкова,  
в самый тихий на свете музей.  
Открывайте мне дверь поскорее,  
и, тихонько ключами звеня,  
открывает мне двери музея  
постаревшая мама моя.*

Я позвонил в Москву, сообщил о смерти Доры Давидовны, и он коротко ответил: — Вылетаю, буду... — и назвал дату прилета.

Мы встретились в Хабаровске, поехали в Биробиджан хоронить его маму. Скажите мне, что я мог чувствовать, если сам в июле 2004 года получил такое же страшное известие? Только вот на похороны не летал. Все равно не успел бы. В Израиле на похороны родственников не ждут. Раввинат не позволяет.

Всю дорогу он курил трубку, и мы говорили о чем-то. Хотелось заговорить боль. На переднем сидении уазика сидел уже не мэтр поэзии, а человек, не успевший проститься с мамой. На нем был всё тот же пиджак, и седина все так же гармонировала по цвету с одеждой, и он спешил, потому что не успевал «однажды досказать...».

У него были родственники в Хабаровске, но почему-то у меня он спросил тогда:

— Саша, я христианин, а мама... Она прожила в другое время... Что прибить на гроб — звезду Давида или крест?

Я даже не помню, что мы решили и что в итоге приколотили к крышке гроба. Только после похорон поэтесса Римма Лавочкина предложила Толе прочитать в синагоге заупокойную молитву. И Толя, покрыв себя талесом\*, прочитал кадиш\*\*.

— Только бы маме там было спокойно...

А потом он прислал мне свою статью «Спасающие нас поэты» — благодарность всем, кто был рядом с ним и разделил его боль.

Вот маленький отрывок из этой статьи:

«Римма позвонила и сказала, что негоже не прочесть по нашей маме кадиш.

Я растерялся: мама не знала Писания, не ходила ни в синагогу, ни в церковь, но, до последнего дня не позабывшая идиш, спасалась от бессонницы списанными у кого-то православными молитвами...

— Читать кадиш должен старший сын, — сказала Римма.

— Но ты же знаешь... — сказал я.

Оказалось, она уже рассказала раввину о моем христианстве.

— Он — за, — сказала Римма.

И я пошел в только что родившуюся биробиджанскую синагогу, подставил макушку под кипу, надел очки, уткнулся в распахнутый передо мной фолиант, стал, стараясь не отстать от голоса раввина Мордехая, произносить незнакомые слова, видя за ними маму — как она откликается на них...»

После похорон Доры Давидовны я провожал Толю в Москву. Он уезжал на маршрутке с автовокзала. Я очень надеялся, что мы еще встретимся, и не раз.

— Я скоро прилечу во Владивосток и обязательно заеду поклониться мамочке, — обещал он на прощанье.

Это был единственный на моей памяти случай, когда Толя не сдержал слова.

Третьего сентября 2006 года я позвонил ему и сказал, что отдал рукопись своего первого сборника на редактирование Михаилу Феофановичу Асламову.

— Я много текстов выбросил из сборника, — сказал я ему.

— Пришли мне всё, даже то, что выбросил, посмотрим вместе, — ответил он.

И я уехал в Китай, отдыхал там до конца сентября, а вернувшись, узнал, что Толи уже нет. Он умер через день после нашего с ним разговора.

Когда товарищ сообщил мне о его смерти, звук выключился, изображение погасло, вокруг стало пусто, как в колодце...

*Забинтуйте облаком овражек,  
подарите ласточке чердак.*

Строчки из стихотворения Толи бестолково вертелись в голове. Я позвонил его жене в Москву. После долгих гудков, до глухоты неожиданно, я услышал голос Толи. Он что-то говорил о том, что рад звонку, сожалел, что не может ответить и просил позвонить позже. Ничего не изменилось в его голосе. Это был тот самый Толя Кобенков, с которым я разговаривал за день до его смерти, и голос которого я слышал сейчас.

Я даже не сразу понял, что Ольга, Толина жена, не стерла запись с его голосом на автоответчике.

---

\* Талес – молитвенное покрывало.

\*\* Кадиш — поминальная молитва (идиш).

*В дожди каморка дворника пуста,  
Должно быть, пьет которую неделю.  
В провинцию приходит пустота,  
Ее ни с кем, как прежде, не поделишь.  
И оттого, что много темноты,  
В озябшем доме коротаю вечер.  
Звоню, а мне в ответ уже не ты,  
А голосом твоим — автоответчик,  
Восстановив разорванную нить,  
Одoleвая смертную преграду,  
Ты просишь чуть попозже позвонить  
И обещаешь: «Будем очень рады...»*

Так и закончились два недолгих, но интересных, душевных года нашего общения с Анатолием Ивановичем Кобенковым. А сейчас я общаюсь только с его стихами, в которых вместе с ним можно влюбиться и отправиться к любимой на товарняке, позвонить маме и пожаловаться на вечную бестолковость весны, посетить старый Биробиджан и выпить с дворником дешевого вина, а после быть счастливым от возможности «в своей любви прохожему признаться».

